

Николай Михайлович Карамзин

**Полный курс русской истории  
Николая Карамзина в одной  
книге**



Николай Карамзин

**Полный курс русской истории  
Николая Карамзина в одной книге**

«Издательство АСТ»

## **Карамзин Н. М.**

Полный курс русской истории Николая Карамзина в одной книге /  
Н. М. Карамзин — «Издательство АСТ»,

Николай Михайлович Карамзин (1766 – 1826) – выдающийся русский историк, литератор и журналист. В дореволюционное время считался отцом-основателем русской истории. Практически все учебники для детей и юношества строились на основе его многотомного труда «История государства Российского». О характере написанной им «Истории» даже желчный критик девятнадцатого столетия В. Г. Белинский заметил, что это «поэма, написанная прозой». Перед вами сокращенное изложение трудов великого историка, дополненное современными комментариями. Грандиозный труд теперь доступен любому читателю, интересующемуся отечественной историей.

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ЛЕТОПИСЕЦ ИЛИ ИСТОРИК?            | 5  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

# Николай Михайлович Карамзин

## Полный курс русской истории Николая Карамзина

*Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть  
действие ясного рассудка, а не слепая страсть.*  
**Н. М. Карамзин**

### ЛЕТОПИСЕЦ ИЛИ ИСТОРИК?

В далекое дореволюционное время Николай Михайлович Карамзин считался отцом-основателем русской истории. Практически все учебники для детей и юношества строились на основе его многотомного труда «История государства Российского». Само собой, когда власть переменилась, переменилось и отношение к Карамзину. Его тут же ничтоже сумняшеся причислили к ортодоксам и реакционерам.

И напрасно. История, изложенная Карамзиным, – яркая, живописная, с патриотической подоплекой, – как нельзя более подходила государству, которое, хоть и отрекшивалось от царизма и именovalo тогдашний строй «тюрьмой народов», строило точно такую же, только более обширную «зону». Карамзинский патриотизм в той стране был очень даже к месту, если, конечно, правильным образом его интерпретировать. И, не упоминая имени имперского Нестора, наши отечественные историки лепили свои труды для детей и юношества, то есть для общеобразовательной системы, точно по лекалу Карамзина, только по-ленински правильно расставив акценты. Из этой новой расстановки тоже получалось, что Ярослав Мудрый был великим, пускай себе и княжеской породы. И русские тоже оказывались великим народом, как и предполагал в своем темном столетии Николай Михайлович.

Советская наука признавала даже заслуги Карамзина, не исключив его имени из учебников. Только вот его книги считались почему-то нежелательными для освоения школярами. Впервые они были изданы в советское время уже ближе к его концу, да и то в журнальном варианте. И сразу же стали настольным чтением для всякого рода ура-патриотов. Члены общества «Память», например, журнал «Москва» (в нем была напечатана карамзинская «История») зачитывали до дыр. Бедняга Карамзин! Он, конечно, был патриотом, и в его веке это вполне простительно, но вот почитания со стороны человеконенавистников явно не предполагал. Так что, читая Николая Михайловича, нужно, прежде всего, делать скидку на время, набежавшее после первой публикации, и на особенности мышления этого человека.

Карамзина совершенно напрасно считают историком. Он был человеком просвещенным, с энциклопедическими знаниями, но специалистом-историком не был никогда. Карамзин был литератором. Но для того, чтобы понять, почему слава Карамзина-историка затмила славу Карамзина-писателя, почему его называли то первым русским историком, то последним русским летописцем, нам стоит обратиться к его человеческой судьбе, увидеть в нем не почившего классика, а человека из плоти и крови, который жил, любил и страдал, был счастлив и несчастлив, имел успехи и неудачи, достигал задуманного и совершал ошибки. Так мы сможем понять не только особенности его мышления, но и особенности той исторической правды, которую он пытался донести до своего читателя – дворянского читателя начала XIX века.

Читатель этот, заметим, был весьма своеобразен: он превосходно понимал по-французски и с большим трудом связывал русские слова в предложения. Родной язык виделся ему грубым и неотесанным. Если поэзия во времена Карамзина еще хоть кое-как переменилась в лучшую

сторону благодаря Державину, то отечественная проза была такой архаичной, что, и правда, лучше было читать французские романы в оригинале. Или немецкие. Или английские, хотя язык «туманного Альбиона» был в России не в ходу.

Писатель Карамзин взялся за перо в то злосчастное время, когда русской прозы практически не существовало. А исторические сочинения писались на таком русском языке, что через пару страниц утомленный читатель откладывал книгу в сторону, зевал, надевал на голову чепец и отправлялся в объятия Морфея. Научные исторические труды могли доставить радость и удовольствие разве что одержимому ученому, простой дворянский муж или тем более дама этой пытки не выносили. Для тогдашнего дворянина история ограничивалась историей его рода да памятными событиями, в которых принимали участие деды и отцы. Дальше вместо истории зияла черная яма. Нет, конечно, профессиональные историки, и большей частью заграничного происхождения, писали о России, но читателю эти писания были либо вовсе не интересны, либо трудны для восприятия.

Да, время было удивительное: существовала огромная страна, могучая российская Империя, а дворянское сословие с воодушевлением пересказывало эпизоды из чужой западной истории, особенно римской. Но, стоило чуть отойти от благословенного родословия, все тут же начинали путаться в именах и событиях. Вся история, что происходила на территории России до Петра Великого, отсутствовала. Сначала Ломоносов, затем Татищев пытались восполнить этот пробел, срастить эпохи, однако читатель вряд ли понимал всю важность их изысканий. Простого и связного изложения событий русской древности, да еще чтобы картины запечатлевались в мозгу помимо воли, – такого исторического живописания не было. Если переводить коллизию на наши дни, то это все равно что заставить рядового человека читать на древнерусском языке «Повесть временных лет» или на другом мертвом – латыни – исторический труд, посвященный проблемам сфрагистики.

Теперь, думаю, понятно, почему образованное дворянское сословие истории своей страны не знало и знать не хотело. Французские, немецкие, английские романы и даже исторические труды были куда как приятнее для глаза и душевного удовлетворения. Русский мужик об отечественной истории вообще никакого представления не имел. Впрочем, Карамзин на его понимание и не рассчитывал. Не для крепостных крестьян задумывалась и писалась его «История». Но удивительное дело: адресованная дворянам, она стала впоследствии учебником патриотизма для всех слоев населения. Прочли ее, пусть и в пересказах, и мужики.

Но довольно предисловий, обратимся, наконец, к личности нашего героя, Николая Михайловича Карамзина. По иронии судьбы, года своего рождения он не знал – так и умер, не выяснив даты начала собственной истории. Если требовалось, в графу «год рождения» он вносил 1765, хотя на самом деле родился в 1766 году (это выяснили уже те, кто изучал его биографию).

Предки Карамзина выводили свое родословие от татарского князька Кара-Мурзы, происходившего из Крыма, но перешедшего на русскую службу. Татарину, само собой, пришлось креститься, и от него-то и пошли русские православные дворяне Карамзины. Впрочем, потомки Кара-Мурзы были люди не слишком богатые. Батюшка историка, дослужившийся до капитана, был и вовсе незначительного достатка, хотя на благо Отечества живота своего не щадил. Но угоды и крепостные души у семьи все же имелись. Именно это умело организованное помещичье хозяйство обеспечивало семью Карамзиных.

Очевидно, что отец был строг к мужикам, но справедлив. Никаких помещичьих зверств в имении не происходило. Это раннее впечатление от единения барина со своими крестьянами глубоко запало в душу Карамзина, он и в зрелом возрасте считал, что для поддержания мужика в достатке и душевном равновесии необходим прежде всего правильный хозяин. Попадет мужик в дурные руки – будет беда и для мужика, и для отечества. Попадет в руки к

завзятому либералу, не желающему вникать в мужицкие проблемы, а только гнать его на волю, предоставив собственному мужицкому разумению, – будет беда похлеще.

У Карамзиных крестьяне были обихожены и сыты. Вопрос об их гражданских свободах будущему историку и в голову не приходил. Из детства он запомнил только приветливые лица мужиков.

В помещичьем доме и прошли ранние годы жизни Николая Михайловича. Это было обычное детство барчука из небогатых дворян: читать и писать его учил местный дьячок – обошлись без гувернеров-французов и элитных школ. Надо сказать, что это дворянское детство протекало на Волге, в местах действительно живописных. Карамзин навсегда полюбил русскую природу, медленные воды величавой реки, паруса рыбацких лодок, кружащих над ними чаек, которых он именовал рыболовами. Эту особую любовь к родине, которую, конечно, можно назвать патриотизмом, он вынес из детства. Она всегда была связана с первыми осмысленными впечатлениями от мира. Недаром, будучи уже вполне зрелым человеком, он признавался, что вид широкой и медленно текущей реки вызывает в его душе восторг до слез. Большие реки, которых он повидал потом немало, всегда напоминали ему родную Волгу.

Позднее это детское восприятие Родины расширилось и охватило все пространство мперии, но изначально Родина заключалась для барчука Коленьки в этих волжских плёсах, в усадьбе, где он рос, в тенистых лесах, которые подступали к дому. Карамзин рос мальчиком впечатлительным и рано пристрастился к чтению. А читал он все, что попадало под руку, но особое пристрастие имел к романтическим историям. Особой любовью для него стал роман Сервантеса «Дон Кихот». Втайне он считал себя рыцарем печального образа.

В этом барчук не ошибся. Хотя его жизнь сложилась гораздо удачнее, чем у литературного героя. Но завет Дон Кихота бороться со злом и защищать добро Карамзин выполнял неукоснительно. Самое любопытное, что это ему удавалось без тяжелых последствий для себя (что совершенно не получалось у Дон Кихота). Рассказывали, что, когда царь решил расправиться с молодым поэтом Пушкиным и загнать его в ссылку, он как бы между прочим проговорил вслух: «Куда бы его сослать?» Карамзин, человек уже известный и при царе не безмолвный, тут же посоветовал отправить Пушкина на юг. Так оно и случилось: вместо Нерчинска или какого иного нехорошего сибирского места Пушкин отправился на юг в армию Инзова, где, как всем известно из школьной программы, стал головной болью для всех военных начальников, то ухлестывая за красивыми дамочками, то сочиняя деловые отчеты в стихах. А не случись рядом Карамзина, где бы оказалось «солнце русской поэзии»? Подумать страшно! Но самое пикантное, что царь никогда не помянул историка злым словом за столь полезный совет.

Так что, ежели говорить о картонном мече и ветряных мельницах, Николай Михайлович отлично видел, как обезвредить зло, чтобы и добро не пострадало. Он ведь в том счастливом детстве читал не только романтические истории, но и вполне реальные «Истории» – Плутарха, например, из древних, или Роллена, составившего описание римской истории, из современников. Но романтическая жилка в юном возрасте была сильна и окрашена в православные тона: кроме светской литературы, читал он также и церковную. Так что, когда однажды произошел с ним опасный случай, завершившийся благополучно, то свое спасение он отнес только на волю Божию.

А дело было так. По одним сведениям, летом барчук отправился почитать к любимому старому дубу. Книжка была увлекательной, так что немудрено, что Коленька зачитался. Опомнился он только тогда, когда в небе запылали молнии и ударил проливной дождь. Он, конечно, стремглав бросился к дому, но точно на его пути появился медведь, и этот зверь питал к барчуку нехорошие чувства. Мальчик окаменел от страха, он ожидал смерти. Но в тот момент, когда он уже полностью простился с земными радостями, полыхнула молния, грянул гром... и медведь стал обугленным куском мяса.

По другим сведениям, встреча с опасным зверем случилась во время прогулки барчука с его дядькой, но суть происшествия адекватна: медведь едва не бросился на мальчика, но пал, сраженный молнией. Как бы то ни было, Карамзин воспринял свое спасение как настоящее чудо: будто бы Бог охранил его от неминуемой смерти с помощью грома и молнии. И он продолжал свято верить до старости, что Господь уберег его от медвежьих лап именно потому, что предназначил ему особую миссию. Учитывая чтение Сервантеса и веру в Провидение, можно твердо сказать: судьба должна была получиться необычной.

Но ничего знаменательного не произошло ни через год, ни через два. Разве что соседка по имению, Пушкина, стала привечать хорошенького мальчугана, учить его этикету и – как сильно опасался его отец – прельщать женскими прелестями. Дабы оградить чадо от соблазна, Николеньку отдали учиться в симбирскую гимназию, точнее в пансион, то есть вырвали мальчика из дворянского гнезда и посадили в пансионерскую клетку.

Учеником Карамзин оказался отменным. Он хорошо и отлично успевал практически по всем предметам. Успехи так вдохновили родителей мальчика, что они отправили его учиться в Москву, в пансион Шадена. Это было специфическое учебное заведение. Шаден был германофилом, и в его пансионе воспитывались отроки, суть которых Пушкин отобразил в своем Ленском таковыми словами: «всегда возвышенная речь и кудри черные до плеч». Впрочем, кроме повышенной чувствительности и чувства умиления прекрасным, Шаден дал своим воспитанникам и знания: пансионеры зубрили мертвые языки – греческий и латынь, осваивали философию и риторiku.

Для большинства пансионеров умение красиво излагать свои мысли было всего лишь элементом обучения, но для юного Карамзина стало профессией. Батюшка желал видеть сына офицером, однако с этим у молодого человека ничего дельного не получилось. Это Державин мог и стихи писать, и солдат вести в бой, а Карамзин оказался юношей совершенно штатским. Отслужив в гвардейском Преображенском полку несколько лет, он с радостью вышел в отставку.

Нельзя сказать, что военная слава не грела ему душу. Грела. В мечтах он побеждал врагов и совершал подвиги. Но оказалось, что служба вовсе не подвиги, а рутина. Кроме того, служба в столичном Петербурге пожирала огромное количество денег. Все-таки гвардейский полк, особые требования к внешнему виду. И этот гвардейский лоск требовал капиталовложений. Но небогатая семья обеспечить их не могла, и Карамзину пришлось полагаться только на собственные способности. А в чем он был способен? В изящном слоге. Так, по совету одного из друзей, офицер Карамзин стал заниматься переводами, благо языкам в пансионе его обучили неплохо. Ему даже удалось издать один такой переводной опус со страшным названием «Деревянная нога».

Может быть, юноша и дальше бы тянул военную лямку и пробавлялся переводами с немецкого, но тут умер отец. Для отставки смерть родителя считалась уважительной причиной, а в военной будущности молодой человек успел окончательно разочароваться.

Примерно с год он прожил в Симбирске, деля время между визитами, картами и разного рода переводами. Только теперь переводы его интересовали больше, и не только как средство заработка. Учтите, что это были 80-е годы XVIII века. Еще не родился Пушкин, а Жуковский еще не открыл русской публике переводных баллад и не сочинил романтических историй. Время для литературы совершенно дикое. Изящным в то время считался слог Михаила Ломоносова и поэтов Сумарокова и Тредиаковского. Так что даже «Деревянная нога» вполне могла считаться высоким искусством, а уж переводы из Эдварда Юнга – и вовсе предел совершенства.

В глухом Симбирске между картами и Юнгом Карамзин неожиданно открыл для себя Вильяма Шекспира. И был сражен. Наверно, ни один другой писатель после Сервантеса не оказал на молодого Карамзина такого влияния. Характеры героев шекспировских трагедий запали ему в душу. Именно у английского драматурга он научился так выстраивать повествование,



чтобы читатели замирали в восторге и не могли оторваться от текста. Позже это ему очень пригодилось.

Пока же, покончив с делами, он подался в более веселую Москву. Тому были особые причины. Кроме Шекспира в симбирском захолустье Карамзин открыл для себя оплот инакомыслия – московский журнал «Трутенъ», который издавал его тезка Николай Новиков.

Об этой поре жизни Карамзина злопыхатели говорят с ненавистью: он подался в масоны. Одни видят в этом масонском «обращении» зло, которое едва не сгубило талант юноши, другие благо, которое подвигло его углубиться в тайные недра истории. На самом деле не правы ни те ни другие. Масонство в Россию, где прежде ни о чем подобном не слыхивали, принесли бежавшие из Франции дворяне, перепуганные революцией. По сути, контрреволюционеры, избежавшие благодаря переезду на Восток гильотины. Но, по сравнению с русскими консерваторами, эти западные монархисты были невероятными вольнодумцами. Они по наивности полагали, что смогут внушить царям наиболее разумное государственное устройство и, как позже напишет Пушкин, «чувства добрые лирой пробуждать».

Увы, не одна лира сломалась, пытаясь пробудить эти чувства, и ничего путного у пробудителей не вышло. Зато появились масонские кружки. В один из них, куда входили авторы и издатель «Трутеня», попал и Карамзин. Масонские ложи в России, несмотря на тайные обряды и непонятные простым смертным символы, были всего лишь клубами по интересам. Очень скоро в них оказалось вовлечено все высшее дворянское сословие.

Масонский кружок, к которому прибился Карамзин, был хотя бы интеллектуальным, то есть в него входили люди просвещенные и имеющие прямое отношение к литературе. Новиков был человеком талантливым и многосторонним. Для юного Карамзина он не мог не стать образцом для подражания. Ведь Новиков был на двадцать лет его старше, и в тот самый год, когда Карамзин появился на свет, молодой Новиков оказался по распоряжению Екатерины в комиссии, которая занималась составлением проекта нового Уложения, то есть с молодости был вовлечен в дела государственной важности. Правда, занимал он должность невысокую (вел протоколы), однако в указе императрицы о занятии, порученном Новикову, говорилось высоким слогом: «к держанию протокола определить особливых дворян с способностями».

Новиков оказался человеком с огромными способностями. Екатерина скоро обратила на него свое внимание. Ловкий царедворец использовал бы этот шанс для упрочения своего положения, но Новиков был мечтателем и максималистом: он хотел реального улучшения жизни людей – с ужасами тогдашней русской жизни он отлично ознакомился, работая в комиссиях. Он пытался предложить проекты переустройства государства, которое пошло бы на пользу его жителям, но куда там! Разочаровавшись и в реформах «сверху», и в самой Екатерине, и в помещиках, и в государственных деятелях, он просто взял и подал в отставку.

Но кипучая энергия требовала выхода, и Новиков стал заниматься делом довольно безопасным (так он думал) – изданием журнала «Трутенъ». Однако, как оказалось, литературное поприще в России легко может стать поводом для ареста и суда. Журнал получился злым и ядовитым, и жалил он как раз тот общественный слой, который с пылом защищал орган императрицы журнал «Всякая всячина». Новиков рисовал картины чудовищной эксплуатации крестьян и ставил вопрос о скорейшем их освобождении из крепостной неволи. Официозный журнал Екатерины, разумеется, остро полемизировал с «Трутенем» и рисовал картины идиллического рабства. Вся русская печать разделилась на два лагеря: одни были за Новикова, другие – за императрицын журнальчик для светской публики. Последний сражение явно проигрывал. Так что новиковский «Трутенъ» Екатерина закрыла своим распоряжением.

Новиков не сдался. После «Трутеня» он издавал «Живописца», «Кошелек», а также серьезные периодические издания – «Санкт-Петербургские ведомости», «Утренний свет». В конце 70-х годов, устав от столичной жизни, он перебрался в более уютную и свободную Москву, подальше от двора. Здесь он получил в аренду университетскую типографию и стал

издавать «Московские ведомости», снабдив скучное и провинциальное издание приложениями и добавив остроты в материалы. Одновременно у Новикова возник сильный интерес к русской истории, и он занялся сбором материалов, которые дошли до его столетия, – гражданских актов, договоров, летописей. Это историческое собрание получило наименование «Древняя российская вивлиофика».

Кроме того, Новиков занимался разными насущными проблемами страны, не будучи чиновником, – когда, например, разразился голод, он изыскал средства, чтобы помочь попавшим в беду людям. Но более всего его заботило развитие и просвещение общества, не дворянского общества, а людей простого звания – мещан и крестьян. Наверное, на этом интересе он близко сошелся в Москве с местными масонами – в отличие от столичных, которые Новикова зазывали не раз в свою среду, московские пришли к нему по душе: все они были люди умные, талантливые, желавшие счастья своей стране. К 1780 году Новиков прошел масонский обряд посвящения и обрел верных друзей – И. Лопухина, С. Гамалея, И. Тургенева, И. Шварца, князей Трубецкого и Черкасского и даже одну женщину, принятую в масонскую ложу, – княгиню Трубецкую.

Примерно в это же время из провинциального Симбирска в Москву перебрался юный совсем Карамзин. Надо ли говорить, что он с огромным воодушевлением влился в эту хорошую московскую компанию. Так что на вопрос, вступил ли Карамзин в масонскую ложу, следует ответить утвердительно: да, вступил. Но остался ли Карамзин верен масонским идеалам? С этим все гораздо сложнее.

В юные годы будущий историк вполне разделял революционные идеалы, да и что дурного может быть в свободе, равенстве, братстве и просвещении народа? Пересмотреть свои взгляды его заставило другое. В пору самого расцвета масонских мечтаний Карамзин решил посмотреть мир. Он хотел видеть все доступные европейские страны, и большинство из них увидел. Никто не посылал Карамзина туда по служебной необходимости, никто не отправлял его для научных занятий – две причины, по которой русские той эпохи оказывались за границей. Не ехал он и для сугубо дворянского развлечения – поблистать в европейском свете. Молодой Карамзин просто желал увидеть, как выглядит мир по ту сторону границы Российской империи. Он желал не читать о заграничной жизни в книгах и журналах, а составить собственное впечатление. Оценить, какие перемены там происходят.

Самые радикальные перемены происходили тогда во Франции. Это оттуда с ужасом бежали роялисты и туда же с восторгом стремились те, кто видел надежду и счастье в свободе, равенстве и братстве. Но то, что увидел в революционной Франции Карамзин, навсегда изменило его мировоззрение. Такой свободы, такого равенства и такого братства он не хотел видеть. Процесс создания правового государства Карамзин представлял несколько иначе – без отрубленных голов и ликующей черни, сбегавшейся поглазеть на очередную казнь. Да и посещение им «штаба революции», Конвента, тоже большого восторга не вызвало: в Конvente ругались, выносили смертные приговоры, большинством голосов решали, кому жить, а кому умереть...

Не только русский путешественник, но и другие очевидцы той кровавой эпохи вспоминали скорее не победы освобожденных французов, а тот страх и трепет, который внушали им вооруженные отряды и толпы обезумевшей черни. Единственный человек, который запомнился Карамзину и которого он защищал даже тогда, когда его именовали не иначе как тираном, был Робеспьер. Для Карамзина он навсегда остался Неподкупным. Для себя русский путешественник сделал такой вывод: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку... Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».

А масоны? Масоны, которые приняли деятельное участие в рождении революции, увидев первые ее кровавые плоды, постарались откреститься от своего детища. Они тоже не предполагали, на что способен освобожденный простолюдин. Так что, если Великая французская революция и была детищем масонов, то разве что бастардом, незаконнорожденным ребенком.

Карамзин сделал для себя еще один важный вывод: никакая свобода не может окупиться ценой пролитой крови. Ему еще предстояло пройти путями русской истории, тоже богатой кровавыми реками, и, по большому счету, эта русская кровь была пролита также напрасно, чего Карамзин не желал признавать, находя те или иные оправдания... Но это было уже много позже, в зрелом возрасте. А тогда, путешествуя по Европе, он мог честно сказать словами Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». То, что он увидел, сделало способного юношу писателем.

Его первая серьезная книга называлась «Письма русского путешественника». Конечно, не стоит отождествлять рассказчика с самим Карамзиным, это все же герой литературный, но многое из того, что он увидел и услышал во время европейского турне, вошло в эту книгу. И многие мысли были созвучны с мыслями самого Николая Михайловича. Возвращение на родину виделось и герою «Писем», и самому Карамзину как возвращение из бурлящего котла революции в тихую и стабильную страну. Если до отъезда Карамзин находил в России одни лишь пороки, то после возвращения он уже точно знал местоположение всех возможных добродетелей.

Однако за время его путешествия в этом тихом болотном мирке многое переменилось. Напуганная революцией во Франции, Екатерина больше не желала выглядеть вольнодумицей, и в русском обществе начались гонения на свободу слова. К моменту возвращения из-за границы Карамзина за дело книгоиздания и просвещения пострадал уже известный нам Николай Новиков. Жандармский отряд явился к нему в имение и силой забрал больного издателя, наделав шума и насмерть перепугав домочадцев: последние не отошли от этого шока до конца своих дней, обзаведясь нервными тиками и заиканием.

Удар Екатерины был направлен на московский масонский кружок, но пострадал за правду один только Новиков. Его осудили и заточили в Шлиссельбургскую крепость. Для Карамзина это тоже был наглядный урок: не только революция пожирает собственных детей – власть, данная Богом, этим тоже занимается регулярно.

Может быть, два этих совпавших по времени события и породили особую черту Карамзина-человека: он предпочитал не ссориться с сильными мира сего и свое приватное мнение держать при себе. С тех пор собственную частную жизнь он полностью отделил от общественной. Он много позволял себе в частных письмах и высказываниях, говорил нелицеприятные слова и о власти имущих, но при дворе держал себя как хороший солдат – полностью соответствуя пожеланиям своего командира. Только в редкие минуты, когда высокое начальство изволило расслабиться и было способно не закусывать человечинкой, Карамзин позволял себе вольности – просил за обреченных или излагал разумные государственные идеи. Он понял природу власти. Он знал, как с ней следует управляться.

Что же касается юношеских светлых идей – Карамзин порвал с масонами не только потому, что боялся последствий: он ясно увидел, куда приводят благие идеи, и к тому же понял еще одно: дела намного важнее слов, даже если эти дела выполнены с недочетами. А у масонского сообщества ничего, кроме пустопорожней болтовни, он не находил. Очевидно, в этом и была причина разрыва.

Впрочем, в некоторых статьях и книгах можно найти иное объяснение: Карамзин просто трусил. Но если бы это было именно так, он не написал бы оду в защиту шлиссельбургского узника Николая Новикова – «К милости»! Удивительное дело: Екатерина, которая личным распоряжением упрянула вольнодумца в крепость, приблизила к себе его защитника, Николая Карамзина.

Но первоначально следствие сильно заинтересовалось мыслями оды. Вот тогда-то в следственном комитете по делу Новикова и родилась та идея, которую до сих пор повторяют все искатели конспирологических связей Карамзина: за границу последний поехал на деньги масонов, по поручению масонов и едва ли не с целью принять участие во французской революции, чтобы, обогатившись опытом свержения самодержавия, повторить эту штуку на собственной родине. Идея совершенно бредовая, но, как показало время, на редкость живучая. Масонские деньги и до сих пор поминаются Карамзину его недоброжелателями.

Само собой, никаких масонских денег не было. Карамзин не имел привычки принимать деньги, которые не заработал. А представить себе молоденького русского дворянчика без связей в обществе, которого всерьез примут в Конвенте, – это просто немыслимо. Единственное, что роднило этого юношу с французскими революционерами, – его отношение к Богу. Карамзин в юности был деистом, чего не показывал, но и особо не скрывал. Деистом он остался и позже, но научился прятать свое неверие за общепринятой религиозностью. Для него свобода совести была сугубо частным делом. Такой вот он был человек.

Но вернемся к 1792 году. Усердные следователи вознамерились арестовать Карамзина и пустить его по Новиковскому делу. Однако будущий историк распознал возможную угрозу и попросту заперся на пару лет в деревне, где усердно работал над литературными произведениями, а потом вернулся в уже успокоенную Москву и посвятил себя все тем же литературным занятиям и светским мероприятиям. Пробовал он себя на ниве стихосложения, но, надо сказать, с этим у него получалось плохо. Карамзин не был поэтом, он сам (к счастью) понял это годам к тридцати.

С прозой дело обстояло лучше, хотя оказалось, что фантазии (в смысле, художественного вымысла) он тоже лишен. Недаром в одном из писем он признавался: «Всему есть время, и сцены переменяются. Когда цветы на лугах пафосских теряют для нас свежесть, мы перестаем летать зефиром и заключаемся в кабинете для философских мечтаний... Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или... будет перекладывать в стихи Кантову метафизику с Платоновой республикой». Разумеется, Кантова метафизика и Платонова республика, изложенные рифмованным стихом, в конце уходящего века выглядели бы более чем странно.

Проза Карамзина, его «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь», хотя и шли в струе современной ему словесности, дав новое течение тогдашнего времени – сентиментализм, все же не были полноценной литературой. Эти прозаические опыты дали идущим следом молодым литераторам ориентиры, но сами по себе высокой художественной ценности не представляли. Хотя, конечно, русская литература пребывала в том состоянии, что одно только владение изящным слогом возносило Карамзина на недостижимые вершины. Но сам он понимал, чего стоят его литературные опыты. На одном мелодраматическом эффекте с ненастоящими героями литература не делается. А русским Шекспиром Карамзин стать не мог. И мало-помалу Николай Михайлович обратился к той отрасли русской словесности, которая практически в те времена отсутствовала.

В начале нового XIX столетия он все чаще стал публиковать заметки и рассуждения на историческую тему. Сразу стоит оговориться, что историком в ученом смысле он, конечно, не был. Но история сама по себе давала тот колорит, который мог использовать Карамзин-писатель. Работать не с вымыслом, но с правдой, окрашивая эту правду в привычно-сентиментальные тона, было для него и удобнее, и приятнее. Пока что это были небольшие статьи.

Между тем в государстве Российском наступили перемены. Сначала умерла Екатерина, и престол унаследовал Павел, который боготворил масонов и тут же выпустил из тюрьмы Новикова. За недолгое время заточения в крепости из активного и живого человека он превратился в ходячего мертвеца: вдруг обнажились все болезни, наступила старость. Павел жаждал призвать Новикова служить отечеству, но тот уже ничего не мог. Согбенный и больной, он уда-

лился в свое имение, где и прожил еще много лет, но участия в политической жизни более никогда не принимал.

О печальной судьбе Новикова, подводя ей итог, и уже в царствование Александра, сам Карамзин писал так: «Господин Новиков в самых молодых летах сделался известен публике своим отличным авторским дарованием: без воспитания, без учения писал остроумно, приятно и с целию нравственную; издал многие полезные творения, например: ««Древнюю российскую вивлиофику»», ««Детское чтение»», разные экономические, учебные книги. Императрица Екатерина II одобряла труды Новикова, и в журнале его (««Живописце»») напечатаны некоторые произведения собственного пера ее. Около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими теософами и сделался в Москве начальником так называемых *мартинистов*, которые *были* (или *суть*) не что иное, как *христианские мистики*: толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность к государю. Их общество, под именем *масонства*, распространилось не только в двух столицах, но и в губерниях; открывались *ложы*; выходили книги масонские, мистические, наполненные загадками. В то же время Новиков и друзья его на свое иждивение воспитывали бедных молодых людей, учили их в школах, в университетах; вообще употребляли немалые суммы на благотворение. Императрица, опасаясь вредных тайных замыслов сего общества, видела его успехи с неудовольствием: сперва только шутила над заблуждением умов и писала комедии, чтобы осмеивать оное; после запретила *ложы*; – но, зная, что масоны не перестают *работать*, тайно собираются в домах, проповедуют, обращают, внутренне досадовала и велела московскому градоначальнику наблюдать за ними. Три обстоятельства умножили ее подозрения.

1. Один из мартинистов, или теософистских масонов, славный архитектор Баженов, писал из С.-Петербурга к своим московским друзьям, что он, говоря о масонах с тогдашним великим князем Павлом Петровичем, удостоверился в его добром об них мнении. Государыне вручили это письмо. Она могла думать, что масоны, или мартинисты, желают преклонить к себе великого князя.

2. Новиков во время неурожая роздал много хлеба бедным земледельцам. Удивлялись его богатству, не зная, что деньги на покупку хлеба давал Новикову г. Походяшин, масон, который имел тысяч шестьдесят дохода и по любви к благодеяниям в сей год разорился.

3. Новиков вел переписку с прусскими теософами, хотя и не политическую, в то время когда наш двор был в явной неприязни с берлинским.

Сии случаи, французская революция и излишние опасения московского градоначальника решили судьбу Новикова: его взяли в Тайную канцелярию, допрашивали и заключили в Шлиссельбургской крепости, не уличенного действительно ни в каком государственном преступлении, но сильно подозреваемого в намерениях, вредных для благоустройства гражданских обществ. Главное имение Новикова состояло в книгах: их конфисковали и большую часть сожгли (то есть все мистические).

Были тайные допросы и другим главным московским мистикам: двух из них сослали в их деревни; третьего, И. В. Лопухина, который отвечал смелее своих товарищей, оставили в Москве на свободе.

Император Павел в самый первый день своего восшествия на престол освободил Новикова, сидевшего около четырех лет в душной темнице; призывал его к себе в кабинет, обещал ему свою милость как невинному страдальцу и приказал возвратить конфискованное имение, то есть остальные, несожженные книги. Заклучим: Новиков как гражданин, полезный своею деятельностью, заслуживал общественную признательность; Новиков как теософический мечтатель, по крайней мере, не заслуживал темницы: он был жертвою подозрения извинительного, но несправедливого. Бедность и несчастье его детей подадут случай государю милосердому воз-

наградить в них усопшего страдальца, который уже не может принести ему благодарности в здешнем свете, но может принести ее Всевышнему».

Это было писано в назидание Александру Первому, дабы заботой о детях тот «отмыл» грехи своей бабки.

При Павле Новиков мог пригодиться отечеству. Но отечество сделало его практически инвалидом. К тому же император видел в Новикове прежде всего масона, а не реформатора. В этом плане новый император был большой оригинал. Понимая, что отечественные масоны своего рода суррогатные, он стал привечать на родине заграничных масонов – членов мальтийского ордена, потерявших свою Мальту. В благодарность за теплый прием мальтийские рыцари произвели императора в должность магистра, хотя по всем орденским канонам никакого права на это не имели. Павел гордился масонским званием. Масоны спешно входили в моду. Вряд ли Карамзин мог наблюдать это императорское масонское воссияние без улыбки.

Впрочем, время правления Павла было недолгим. В новом XIX столетии его сменил отцеубийца Александр. Именно на восшествие Александра на русский престол Карамзин и опубликовал первое свое произведение нового для него направления – «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II». В этом тексте писатель отдавал должное блестящему столетию Екатерины и ее деяниям, проводя подспудно идею, что только разумное и просвещенное правление монарха может гарантировать стране процветание.

Поскольку текст был сугубо назидательным, Николай Михайлович не стал в нем помянуть пороки екатерининского правления, сделав упор только на заслугах. Император оценил похвалу. В молодые лета он действительно жаждал быть просвещенным монархом и задумывал ряд реформ. Неудивительно, что в Карамзине он увидел союзника. Но тут император несколько ошибался: Карамзин не считал пороки добродетелями, но придерживался мнения, что по случаю праздника не следует говорить о дурном. Всему существует свое время и место.

В «Слове» Карамзин впервые попробовал нарисовать целостную картину минувшего века. К его удивлению, картина получилась впечатляющая. За «Словом» последовали другие исторические опыты. Эта новая публицистика на историческую тему быстро нашла своего читателя, стала печататься в «Вестнике Европы» – солидном тогдашнем журнале, который издавал сам Николай Михайлович. В этом журнале, кроме статей на разную тему и переводов, появилась также более значительная его повесть «Марфа Посадница», произведение, сложенное на основе исторических фактов и преданий.

Если манерные, переполненные умилением и слезами, то есть тем, что называлось емким словом «настроение», ранние повести сделали Карамзина любимцем читающей России, то «Марфа» сразу обозначила новый этап в его творчестве. Он заявил о себе как писатель исторический. Кошмарная судьба самой Марфы, конец новгородских вольностей – все это позволило Карамзину обозначить для широкого круга читателей узкоспециальную тему. История, представлявшая для образованного слоя сплошное черное пятно, вдруг оказалась расцвечена бытовыми деталями, в ней действовали живые люди, которые за что-то боролись, кого-то любили и чему-то радовались или печалились. Исторические персонажи впервые обрели человеческое лицо. Пусть карамзинские герои изъяснялись в традициях Расина и Корнеля, а в обращении к соратникам использовали цитаты из Тита Ливия, это все же были картинки из русской истории.

Неслучайно, ознакомившись со статьями и прозой Карамзина, товарищ министра народного образования М. Муравьев предложил тому звание историографа и ежегодный пенсион в 2000 рублей. От писателя требовалось только одно: составить историю Русского государства так, чтобы она была написана простым и живым языком.

До Карамзина, конечно, существовали специальные труды по русской истории. Одним из них пользовался при составлении своей «Истории государства Российского» сам автор – это была история, написанная Щербатовым, с которым Николай Михайлович консультировался не раз. К сожалению, Щербатов был историком своеобразным, в его сочинении содержалось

немало неточностей и ошибок, да и факты он предпочитал подбирать под собственные идеи. Щербатовские огрехи переполезли и в повествование Карамзина. Труды другого историка, Шлецера, Карамзину не нравились из-за сугубой научности.

Карамзин, повторюсь, не был ученым-историком, он не понимал критического отношения к источникам, не понимал и философского взгляда на исторические события. Вся история проходила перед ним в лицах. Так что неудивительно, что факты он домысливал, зачастую убивая этим истину, а красивая картинка, трепетное описание, живо выписанный характер имели больше отношения к литературе, чем к исторической правде.

Саму щербатовскую «Историю» Карамзин переработал так, что домыслы заступили место приведенных в ней фактов, которые, как уже указывалось, и так имели некоторую односторонность. Но если щербатовский труд был известен разве что любителям древностей, то карамзинская «История» стала настольной книгой в каждом образованном семействе.

И если винить Карамзина в искажении исторической действительности, то прежде стоит указать на те же пороки книги князя Щербатова. Карамзин ведь исторического образования не имел, он был совершеннейшим дилетантом. Удивительно, что в немолодые уже годы он сумел изучить этот серьезный предмет так, что спустя шесть лет после вступления в историографическую должность мог без страха и трепета возражать своим ученым оппонентам и спорить на специальные научные темы.

Что же касается ошибок и искажений в «Истории», стоит сразу оговориться, что Карамзин действовал в ущерб исторической правде ненамеренно: он просто искал для своих персонажей более выигрышный литературный ход, вкладывал им в головы собственные мысли и переживания, как делал прежде с вымышленными литературными героями. Для него исторические персонажи ничем не отличались от литературных героев.

Так что «История», которую на протяжении 22 лет писал для русского читателя Карамзин, говорит больше не о реальных лицах, в ней действовавших, а о предпочтениях и взглядах самого писателя. Если ему встречалось несколько источников, по-разному рассказывающих о реальных событиях, Карамзин выбирал не тот, что достовернее, а тот, что давал более яркую картинку.

Как практически придворному историографу, ему были открыты многие древние тексты, которые затем были навсегда утрачены для потомков. Он пользовался рукописями, которые в более позднее время погибли при пожарах и других бедствиях. И только по комментариям к каждому тому (а таковых вышло 12, последний – уже после смерти автора) мы можем судить, что же это были за источники и о чем они говорили. Если просвещенная публика читала с упоением текст самой «Истории», то специалисты с гораздо большим интересом изучали позже его комментарии к тексту. И для историков они так и остались самым важным из всего, что написал Карамзин в чине придворного историка.

Сам же Карамзин составлял комментарии по той простой причине, что источников было много, часто они противоречили друг другу, и вместить их в сам текст оказалось невозможным. Если бы ему удалось, то он написал бы свою «Историю» без комментариев. Но, к великому счастью для потомков, это у него не получилось.

Начав свою «Историю» в 1804 году, он продолжал работу над ней до самой своей смерти в 1826 году. Начав с бытописания жизни первых русских князей, он закончил временем Смуты. Правящий дом Романовых не попал в карамзинскую историю. Для русского читателя это была самая что ни есть древнейшая история отчизны. То, о чем рассказывал Карамзин, было отделено от его времени минимум двумя столетиями. Повествуя о «начале начал», он мог не бояться показаться непатриотичным. Но его «История» оказалась излишне патетична и переполнена восклицаниями и славословиями тем князьям, которых принято было считать «хорошими». Имея под рукой разного рода источники, Карамзин исключал те, где его герои выглядели не столь привлекательно.

Почему? Мне кажется, что разгадка проста: Карамзин не боялся гнева царя, но желал преподать урок читателям: вот как нужно радеть за отечество, вот как его следует защищать, вот как нужно относиться по-доброму ко всем его жителям. Он ведь искренне считал, что счастливым может быть только добрый человек. И только добрый человек может быть сильным. И только он может быть мудрым. И такими – сильными, мудрыми и счастливыми, а потому добрыми – он желал видеть своих читателей. Так что сюжеты для своей «Истории» он отбирал такие, где зло в конечном счете наказано, справедливость восстановлена и герои вознаграждены по заслугам. В хорошем романе так ведь, собственно, и бывает: злодей погибает от собственной злобы, добродетельный юноша находит счастье, прекрасную девушку спасают от поругания, и живут они далее за пределами романа долго и счастливо и умирают в один день.

Но русские летописи рассказывали такие ужасающие подробности о древних героях, что приходилось изобретать средство, как этих героев оправдать. И если древние летописцы не видели в их жестокостях ничего особенного, то современник Карамзина уже не понял бы, почему это князь, которого рекомендуют в добродетельные, умерщвляет своих братьев или насилует чужую невесту на глазах ее родителей.

Вот и приходилось Карамзину восклицать, объяснять, даже убирать наиболее пикантные эпизоды из своей «Истории». В результате то, что родилось за четверть века постоянного труда, стоит называть не «Историей», а романом, или, как предлагали противники Карамзина, летописью.

Иными словами, умело пряча негативные факты за красивыми картинками, Николай Михайлович не столько желал восславить самодержавие (в этом вопросе он вообще ничего нового не изобретал – все исторические труды, написанные до Карамзина, считали самодержавие единственно возможной формой государственного правления), сколько воспламенить сердца читателей любовью к положительным героям своей длинной книги.

Увы, исторические персонажи за эти 22 года труда стали для него не чужими людьми, а его героями. И – слаб человек! – иногда он оправдывал их не самые хорошие поступки. Зато хорошие для отечества воспевал едва ли не со страстью мифического Бояна.

Что же касается смелости или трусости Карамзина, то судите сами. В 1811 году, накануне войны с Наполеоном, увидев, что Александр не справляется с управлением страной в духе просвещения, Карамзин передал через великую княгиню Екатерину Павловну (с ней он дружил) «Записку о древней и новой истории в ее политическом и гражданском отношении». Это был практически самоубийственный поступок. Начиналась «Записка» цитатой из Псалтыри: «Несть лести в языке моем». Стоит привести этот любопытный, хотя и длинный документ частично. В нем, как ни в каком ином тексте, отражена так ясно и точно гражданская позиция Карамзина. Начиная с древних времен, автор переходит к событиям современности и без всякого снисхождения обличает пороки общественного устройства, хотя при всем том остается верноподданным своему государю – безмолвным и с чистым сердцем.

«Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в связи представляется мыслям яснее. От моря Каспийского до Балтийского, от Черного до Ледовитого, за тысячу лет пред сим жили народы кочевые, звероловные и земледельческие, среди обширных пустынь, известных грекам и римлянам более по сказкам баснословия, нежели по верным описаниям очевидцев. Провидению угодно было составить из сих разнородных племен обширнейшее государство в мире. Рим, некогда сильный доблестью, ослабел в неге и пал, сокрушенный мышцею варваров северных. Началось новое творение: явились новые народы, новые нравы, и Европа восприняла новый образ, донныне ею сохраненный в главных чертах ее бытия политического. Одним словом, на развалинах владычества римского основалось в Европе владычество народов германских.

В сию новую, общую систему вошла и Россия. Скандинавия, гнездо витязей беспокойных – officina gentium, vagina nationum – дала нашему отечеству первых государей, добровольно



принятых славянскими и чудскими племенами, обитавшими на берегах Ильменя, Бела-озера и реки Великой. «Идите, – сказали им чужд и славяне, наскучив своими внутренними междоусобиями, – идите княжить и властвовать над нами. Земля наша обильна и велика, но порядка в ней не видим». Сие случилось в 862 году, а в конце X [века] Европейская Россия была уже не менее нынешней, то есть, во сто лет она достигла от колыбели до величия редкого. В 964 г. россияне, как наемники греков, сражались в Сицилии с аравитянами, а после в окрестностях Вавилона. Что произвело феномен столь удивительный в истории? Пылкая, романтическая страсть наших первых князей к завоеваниям и единовластие, ими основанное на развалинах множества слабых, несогласных держав народных, из коих составила Россия. Рюрик, Олег, Святослав, Владимир не давали образумиться гражданам в быстром течении побед, в непрестанном шуме воинских станов, платя им славою и добычею за утрату прежней вольности, бедной и мятежной.

В XI [веке] государство Российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность. Монархи его в твердой руке своей держали судьбы миллионов, озаренные блеском побед, окруженные воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановением воздвигали рать и движением перста указывали ей путь к Боспору Фракийскому, или к горам Карпатским. В счастливом отдохновении мира государь пировал с вельможами и народом, как отец среди семейства многочисленного. Пустыни украсились городами, города – избранными жителями; свирепость диких нравов смягчилась верою христианскою; на берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними немецкими. Одним словом, Россия не только была обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством.

К несчастью, она в сей бодрой юности не предохранила себя от государственной общей язвы тогдашнего времени, которую народы германские сообщили Европе: говорю о системе удельной. Счастье и характер Владимира, счастье и характер Ярослава могли только отсрочить падение державы, основанной единовластием на завоеваниях. Россия разделилась.

Вместе с причиною ее могущества, столь необходимого для благоденствия, исчезло и могущество, и благоденствие народа. Открылось жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули: зрелище нашего внутреннего бедствия служило им поручительством в их безопасности. Дотоле боялись россиян, – начали презирать их. Тщетно некоторые князья великодушные – Мономах, Василько – говорили именем отечества на торжественных съездах, тщетно другие – Боголюбский, Всеволод III – старались присвоить себе единовластие: покушения были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственную. Открылось и другое зло, не менее гибельное. Народ утратил почтение к князьям: владетель Торопца, или Гомеля, мог ли казаться ему столь важным смертным, как монарх всей России? Народ охладил в усердии к князьям, видя, что они, для ничтожных, личных выгод, жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовый все еще взять сторону счастливейшего, или изменить ему вместе с счастьем; а князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к народу, старались только умножать свою дружину воинскую: позволили ей теснить мирных жителей сельских и купцов; сами обирали их, чтоб иметь более денег в казне на всякий случай, и сею политикою, утратив нравственное достоинство государей, сделались подобны судьям-лихоимцам, или тиранам, а не законным властителям. И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью.

В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнее, что оно еще столь долго могло умирать по частям и в сердце, сохраняя вид и действия жизни государственной, или независимость, изыскиваемую одною слабостью наших соседей.

Земля Русская, упоенная кровью, усыпанная пеплом, сделалась жилищем рабов ханских, а государи ее трепетали баскаков. Казалось, что Россия погибла навеки.

Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности именуемый селом Кучковым, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита, заслужив имя Собирателя земли Русской, есть первоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира. Надлежало, чтобы его преемники в течение века следовали одной системе с удивительным постоянством и твердостью, – системе наилучшей по всем обстоятельствам и которая состояла в том, чтобы употребить самих ханов в орудие нашей свободы... Глубокомысленная политика князей московских не удовлетворялась собранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо и единовластие усилить самодержавием... Князья пресмыкались в Орде, но, возвращаясь оттуда с милостивым ярлыком ханским, повелевали смелее, нежели в дни нашей государственной независимости. Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сим расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались князья московские и, мало-помалу истребив все остатки древней республиканской системы, основали истинное самодержавие. Умолк вечевой колокол во всех городах России. Дмитрий Донской отнял власть у народа избирать тысяцких, и, вопреки своему редкому человеколюбию, первый уставил торжественную смертную казнь для государственных преступников, чтобы вселить ужас в дерзких мятежников.

Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не славился оным, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием<...>

Политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростью: имея целью одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных или опасных, желая сохранять, а не приобретать.

Внутри самодержавие укоренилось. Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была изливанием монаршей. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титуло уже было не княжеское, не боярское, но титуло слуги царева. Народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; детальным действием, не спорил о правах. Одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство или казнь их свидетельствовали твердость оного. Наконец, царь сделался для всех россиян земным Богом...

Князья московские учредили самодержавие – отечество даровало оное Романовым.

Самое личное избрание Михаила доказывало искреннее намерение утвердить единовластие. Древние княжеские роды, без сомнения, имели гораздо более права на корону, нежели сын племянника Иоанновой супруги, коего неизвестные предки выехали из Пруссии, но царь, избранный из сих потомков Мономаховых, или Олеговых, имея множество знатных родственников, легко мог бы дать им власть аристократическую и тем ослабить самодержавие. Предпочли юношу, почти безродного; но сей юноша, свойственник царский, имел отца, мудрого, крепкого духом, непреклонного в советах, который долженствовал служить ему пестуном на троне и внушать правила твердой власти. Так строгий характер Филарета, не смятенный принужденною монашескою жизнью, более родства его с Федором Иоанновичем способствовал к избранию Михаила.

Исполнилось намерение сих незабвенных мужей, которые в чистой руке держали тогда урну судьбы нашей, обуздывая собственные и чуждые страсти. Дуга небесного мира воссияла над тронem Российским. Отечество под сенью самодержавия успокоилось, извергнув чужеземных хищников из недр своих, возвеличилось приобретениями и вновь образовалось в гражданском порядке, творя, обновляя и делая только необходимое, согласное с понятиями народными и ближайшее к существующему. Дума Боярская осталась на древнем основании, т. е. советом царей во всех делах важных, политических, гражданских, казенных. Прежде монарх рядил государство через своих наместников, или воевод; недовольные ими прибегали к нему: он судил дело с боярами.

Сия восточная простота уже не ответствовала государственному возрасту России, и множество дел требовало более посредников между царем и народом. Учредились в Москве приказы, которые ведали дела всех городов и судили наместников. Но еще суд не имел устава полного, ибо Иоаннов оставлял много на совесть, или произвол судящего. Уверенный в важности такого дела, царь Алексей Михайлович назначил для оного мужей думных и повелел им, вместе с выборными всех городов, всех состояний, исправить Судебник, дополнить его законами греческими, нам давно известными, новейшими указами царей и необходимыми прибавлениями на случаи, которые уже встречаются в судах, но еще не решены законом ясным. Россия получила Уложение, скрепленное патриархом, всеми значительными духовными, мирскими чиновниками и выборными городскими. Оно, после хартии Михайлова избрания, есть донныне важнейший Государственный завет нашего Отечества.

Вообще, царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении: ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым.

Явился Петр<...> Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, академию, наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не родятся в такое или такое царствование, но единственно избираются... Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди – и слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете. Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного?... Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную, и, – что не менее важно, – учредили твердое в ней правление единовластное?... Петр нашел средства делать великое – князья московские приготавливали оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?

Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости.

Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореня древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце.

Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: «Блюдайте нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого», – но не сказал: «противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». В сем отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом.

Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях – со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний.

В течение веков народ обвык чтить бояр как мужей, ознаменованных величием, – поклонялся им с истинным уничижением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатскою пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах, шествуя в храм Божий или на совет к государю. Петр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо приказов – коллегии, вместо дьяков – секретари и проч. Та же бессмысленная для россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и проч. Честью и достоинством россиян сделалось подражание.

Семейственные нравы не укрылись от влияния царской деятельности. Вельможи стали жить открытым домом; их супруги и дочери вышли из непроницаемых теремов своих; балы, ужины соединили один пол с другим в шумных залах; россиянки перестали краснеть от нескромного взора мужчин, и европейская вольность заступила место азиатского принуждения... Чем более мы успевали в людскости, в обходительности, тем более слабели связи родственные: имея множество приятелей, чувствуем менее нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия.

Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским, или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что, действительно, порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь –

первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оно!

Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию – неверным или братьям? Т. е. кому бы она, по вероятности, должна была более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр.

Он велик без сомнения; но еще мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей<...> Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного. Многие гибли за одну честь русских кафтанов и бороды: ибо не хотели оставить их и дерзали порицать монарха. Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает у них самое Отечество<...>

Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных порокою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль утвердить там пребывание государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах<...>

Но великий муж самыми ошибками доказывает свое величие: их трудно или невозможно изгладить – как хорошее, так и худое делает он навеки. Сильною рукою дано новое движение России; мы уже не возвратимся к старине!.. Второй Петр Великий мог бы только в 20 или 30 лет утвердить новый порядок вещей гораздо основательнее, нежели все наследники Первого до самой Екатерины II. Несмотря на его чудесную деятельность, он многое оставил исполнить преемникам, но Меншиков думал единственно о пользах своего личного властолюбия; так и Долгорукие. Меншиков замышлял открыть сыну своему путь к трону; Долгорукие и Голицыны хотели видеть на престоле слабую тень монарха и господствовать именем Верховного Совета. Замыслы дерзкие и малодушные! Пигмеи спорили о наследии великана. Аристократия, олигархия губила отечество...

И, в то время, когда оно изменило нравы, утвержденные веками, потрясенные внутри новыми, важными переменами, которые, удалив в обычаях дворянство от народа, ослабили власть духовную, могла ли Россия обойтись без государя? Самодержавие сделалось необходимое прежнего для охранения порядка – и дочь Иоаннова, быв несколько дней в зависимости осьми аристократов, восприняла от народа, дворян и духовенства власть неограниченную. Сия государыня хотела правительствовать согласно с мыслями Петра Великого и спешила исправить многие упущения, сделанные с его времени<...>

Но злосчастная привязанность Анны к любимцу бездушному, низкому омрачила и жизнь, и память ее в истории. Воскресла Тайная канцелярия Преображенская с пытками; в ее вертепах и на площадях градских лились реки крови. И кого терзали? Врагов ли государыни? Никто из них и мысленно не хотел ей зла: самые Долгорукие виновны были только перед Отечеством, которое примирилось с ними их несчастьем. Бирон, не достойный власти, думал утвердить ее в руках своих ужасами: самое легкое подозрение, двусмысленное слово, даже молча-

ние казалось ему иногда достаточною виною для казни или ссылки. Он, без сомнения, имел неприятелей: добрые россияне могли ли видеть равнодушно курляндского шляхтича почти на троне? Но сии Бироновы неприятели были истинными друзьями престола и Анны. Они гибли; враги наушника Бирона гибли; а статный конь, ему подаренный, давал право ждать милостей царских.

Вследствие двух заговоров злобный Бирон и добродушная правительница утратили власть и свободу. Лекарь француз и несколько пьяных гренадеров возвели дочь Петрову на престол величайшей империи в мире с восклицаниями: «гибель иноземцам! честь россиянам!»

Первые времена сего царствования ознаменовались нахальством славной лейбкомпании, возложением голубой ленты на малороссийского певчего и бедствием наших государственных благодетелей – Остермана и Миниха, которые никогда не были так велики, как стоя под эшафотом и желая счастья России и Елизавете. Как при Анне, так и при Елизавете Россия текла путем, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь от своих древних нравов и сообщаясь с европейскими.

Замечались успехи светского вкуса. Уже двор наш блистал великолепием и, несколько лет говорив по-немецки, начал употреблять язык французский. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши мерялись с Парижем, Лондоном, Веною. Но грозы самодержавия еще пугали воображение людей: осматривались, произнося имя самой кроткой Елизаветы или министра сильного; еще пытки и Тайная канцелярия существовали.

Новый заговор – и несчастный Петр III в могиле со своими жалкими пороками... Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать, как земной Бог, – и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких – Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или славу свою – победами, законодательством, просвещением. Ее душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозрением, – и страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними вместе исчез у нас и дух рабства, по крайней мере, в высших гражданских состояниях...

Екатерина очистила самодержавие от примесей тиранства. Следствием были спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума. Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления: уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы: Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе... Она была женщина, но умела избирать вождей так же, как министров или правителей государственных... Ее победы утвердили внешнюю безопасность государства... Правилom монархини было не мешаться в войны, чуждые и бесполезные для России, но питать дух ратный в империи, рожденной победами.

Слабый Петр III, желая угодить дворянству, дал ему свободу служить или не служить. Умная Екатерина, не отменив сего закона, отвратила его вредные для государства следствия: любовь к Святой Руси, охлажденную в нас переменами Великого Петра, монархиня хотела заменить гражданским честолюбием; для того соединила с чинами новые прелести или выгоды, вымышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых оными. Крест Св. Георгия не рождал, однако ж усиливал храбрость. Многие служили, чтобы не лишиться места и голоса в Дворянских собраниях; многие, несмотря на успехи роскоши, любили чины и ленты гораздо более корысти. Сим утвердилась нужная зависимость дворянства от трона.

Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах. <...> В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: «Мои законы несовершенные, но лучшие для афинян». Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала правила без средств исполнения.

Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархия, – не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами.

Екатерина – Великий Муж в главных собраниях государственных – являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности: дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; не видала или не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением ее царствования.

По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время.

Следствия кончины ее заградили уста строгим судьям сей великой монархини: ибо особенно в последние годы ее жизни, действительно слабейшие в правилах и исполнении, мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру уже не чувствуя всей цены одного и тем сильнее чувствуя противное: доброе казалось нам естественным, необходимым следствием порядка вещей, а не личной Екатериной мудрости, худое же – ее собственною виною.

Павел восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства... Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления одного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных претерпленных им неудовольствий он хотел быть Иоанном IV; но россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святыя обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды – прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства. <...>

Россияне смотрели на сего монарха как на Грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней. <...> Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!.. Две причины способствуют заговорам:

общая ненависть или общее неуважение к властителю. Бирон и Павел были жертвою ненависти, правительница Анна и Петр III – жертвою неуважения. Миних, Лесток и другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем уставам государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью россиян.

Не сомневаясь в добродетели Александра, судили единственно заговорщиков, подвигнутых местию и страхом личных опасностей; винили особенно тех, которые сами были орудием Павловых жестокостей и предметом его благодеяний. Сии люди уже, большею частью, скрылись от глаз наших в мраке могилы или неизвестности... Едва ли кто-нибудь из них имел утешение Брута или Кассия пред смертью или в уединении. Россияне одобрили юного монарха, который не хотел быть окружен ими, и с величайшею надеждою устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать по её сердцу!.. <...>

Два мнения были тогда господствующими в умах: одни хотели, чтобы Александр в вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такового предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла. <...>

В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: «Можно, надобно только поставить закон еще выше государя». Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они – угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти, – вижу аристократию, а не монархию.

Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит Устав? Представят о том его величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ?.. Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто.

Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава ее она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, то истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!..»

Но вообразим, что Александр предписал бы монаршей власти какой-нибудь Устав, основанный на правилах общей пользы, и скрепил бы оный святостью клятвы... Сия клятва без иных способов, которые все или невозможны, или опасны для России, будет ли уздою для приемников Александровых? Нет, оставим мудрствования ученические и скажем, что наш государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! да приучит подданных ко благу!.. Тогда родятся обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих государей в пределах законной власти... Чем? – страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после государя мудрого – никогда! «Сладкое отвращает нас от горького» – сказали послы Владимировы, изведав веры европейские.



Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха: он царствует 10 лет, и никто не переменит о том своих мыслей; скажу еще более: все согласны, что едва ли кто-нибудь из государей превосходил Александра в любви, в ревности к общему благу; едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца и столь умел быть человеком на троне, как он!..

Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры. Удивительный государственный феномен!

Обыкновенно бывает, что преемник монарха жестокого легко снискивает всеобщее одобрение, смягчая правила власти: успокоенные кротостью Александра, безвинно не страшась ни Тайной канцелярии, ни Сибири и свободно наслаждаясь всеми позволенными в гражданских обществах удовольствиями, каким образом изъясним сие горестное расположение умов? Несчастливыми обстоятельствами Европы и важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Движимый любовью к общему благу, Александр хотел лучшего, советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных. <...> Министерские бюро заняли место коллегий. <...> Начали являться, одни за другими, комитеты: они служили сатирой на учреждение министерств, доказывая их недостаток для благоуспешного правления. <...>

Далее, основав бытие свое на развалинах коллегий, – ибо самая Военная и Адмиралтейская утратили важность свою в сем порядке вещей, – министры стали между государем и народом, заслоняя Сенат, отнимая его силу и величие, хотя подведомые ему отчетами; но сказав: «Я имел счастье докладывать государю!» – заграждали уста сенаторам, а сия мнимая ответственность была доселе пустым обрядом. Указы, законы, предлагаемые министрами, одобряемые государем, сообщались Сенату только для обнародования. Выходило, что Россией управляли министры, т. е. каждый из них по своей части мог творить и разрушать. Спрашиваем: кто более заслуживает доверенность – один ли министр или собрание знатнейших государственных сановников, которое мы обыкли считать высшим правительством, главным орудием монаршей власти? Правда, министры составляли между собою Комитет; ему надлежало одобрить всякое новое установление прежде, нежели оно утверждалось монархом; но сей Комитет не походит ли на Совет 6 или 7 разноземцев, из коих всякий говорит особенным языком, не понимая других. Министр морских сил обязан ли разуместь тонкости судебной науки, или правила государственного хозяйства, торговли и проч.?.. Еще важнее то, что каждый из них, имея нужду в сговорчивости товарищей для своих особенных выгод, сам делается сговорчив.

«Просим терпения», отвечают советники монарха: «мы изобретаем еще новый способ ограничить власть министров». Выходит учреждение Совета <...> Совет, говорят, будет уздою для министров. Император отдает ему рассматривать важнейшие их представления; но, между тем, они все будут править государством именем государя. Совет не вступается в обыкновенное течение дел, вопрошаемый единственно в случаях чрезвычайных, или в новых постановлениях, а сей обыкновенный порядок государственной деятельности составляет благо или зло нашего времени.

Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве, и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и Совета имело для всех действие внезапно-сти <...>

Рассматривая таким образом сии новые государственные творения и видя их незрелость, добрые россияне жалеют о бывшем порядке вещей. С Сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурором у нас шли дела, и прошло блестящее царствование Екатерины II. Все мудрые законодатели, принуждаемые изменять уставы политические, старались как можно менее отходить

от старых. «Если число и власть сановников необходимо должны быть переменены, – говорит умный Макиавелли, – то удержите хотя имя их для народа». Мы поступаем совсем иначе: оставляем вещь, гоним имена, для произведения того же действия вымышляем другие способы! Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее? <...>

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.